

Ольга Фатеева

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Их было, как обычно, двое. Мама и девочка лет десяти. Вход в туннель нашелся сразу, значит, им туда. Точный адрес, конечно же, нигде записан не был, но, если становилось нужно, слышался в словах людей на улицах, в магазинах, печатался в газетных объявлениях «куплю-продам» мелким шрифтом, сам собой открывался в навигаторе. Туннель длинный, железнодорожный, с одной колеёй посередине, справа и слева хватало места для идущих. На потолке висели фонари, светившие слабым серо-желтым светом.

Их отношения не заладились с самой маминой беременностью. Мама плакала, украдкой и при всех, и бестолково мечтала, как было бы хорошо повернуть время вспять. Ее тошнило и рвало, вкусы и запахи извращались. Как раз вспомнила об этом сегодня, когда ехали в троллейбусе, рядом сел молодой мужчина и прямо в троллейбусе ел жареные куриные ножки — чуть не выбежала, закашлявшись.

Мама собиралась долго, несколько дней. Набивала чемоданы — большой или поменьше, — упаковывала чуть ли не всю домашнюю библиотеку, потом спохватывалась, переносила книги в комнату дочери, а себе никак не могла выбрать одну единственную, самую-самую. Складывала теплую одежду, а потом бубнила, что вряд ли вообще будет выходить куда-либо и зачем ей столько, перебирала лекарства, шампуни, кремы, и вдруг начинала мыть полы, или кидалась к плите, или останавливалась где-нибудь — посреди коридора, например, — со взглядом в себя и пультом от телевизора или деревянным салатником в руках. Девочка, обычно шумная, сейчас серьезная, насуспенная, была тут же, при маме, пропускала школу, но не могла пропустить сборы. Молча ходила за матерью, смотрела исподлобья, невпопад подавала ей случайные вещи, оказавшиеся рядом, так же потом клала их на случайные места.

Теперь они направлялись в Родительский дом, куда дети могли сдать своих родителей (чаще привозили почему-то мам) и выбрать новых. Сданных однажды родителей (родных или выбранных) тем же детям забирать обратно запрещалось. Родители могли жить в доме до «прекращения репродуктивной функции», если их никто не выбирал, куда они девались потом, не знали. Дети допускались сюда до совершеннолетия, количество посещений не ограничивалось, потом нужно было заводить свои семьи и своих детей.

Родительский дом стоял за городом, рядом жили те, кто в нем работал, и те, кто работал для работников. Здесь были свои: магазин, детский сад, школа и больница. Родителей из дома лечили прямо в нем. Еду, одежду, книги и остальное необходимое собирали жители города, вещи передавались в доме по наследству. Телевизоры в холлах на этажах, мусор вывозил два раза в неделю специальный мусоровоз. Ни интернета, ни телефонов, ни почты. Забора, впрочем, вокруг дома тоже не было, и дверь не закрывалась на замок.

Девочка с мамой, сколько помнила девочка, всегда ругались и всегда громко — соседи назавтра каждый раз интересовались, что там было-то у вас. Девочка выкрикивала матери: «Ведь ты же меня любишь, ты же моя мама!» — а мама беспомощно быстро ходила, почти бегала по квартире, наконец сдавалась, садилась куда попало с одним вопросом: «За что?» За что ей все это, почему у людей дети как дети, и в садик, и в школу, и кушают хорошо, и с улицы не загонишь, а у нее... Дом наводнен непонятными поделками из подручных материалов. Вот прозрачный пластиковый шарик, обмотанный скотчем, а под скотчем светящийся, уже давно не светящийся браслет — инопланетянин, говорила дочь. Вот коробочка от маминой цепочки с приклеенным тонким оранжевым шнурком, на шнурке скрепки — не знаю, зачем. Кукла из ложки и тряпочек, завернутая в полиэтилен — плащ, — на полу диван из старых одеял. И простуды бесконечные и в садике, и в школе, и все детские инфекции, и уши, и живот. Гулять? Нет, сегодня не хочу, сегодня посидим дома. Приживалась везде не месяцами даже, годами, на танцах вот так и не прижилась, хотя танцевала хорошо, выступала. В группе, в классе молчала, не улыбалась почти, а вечерами дома хохотала неестественно, говорила громко, не замолкая, везде — в туалете, за ужином с набитым ртом, когда чистила зубы, делала

уроки. Мама дома почему-то отчаянно пугалась звуков, особенно голоса дочери, но настоять, запретить получалось редко.

Про дом девочка написала на своем старом рисунке, который висел на кухне: «Пойдем завтра, как соберешься». Мама увидела, но до завтра собраться не успела.

Откуда-то все в городе знали, что родители в доме учатся, а потом сдают экзамены на полиграфе. Даже вопросы повторяли друг за другом, почти ничего в них не меняя. «Вы любите своих детей?» — надо было отвечать: «Нет», — полиграф не обманешь, у многих на это уходили годы. «Вы злитесь на детей, беситесь от их присутствия, испытываете бессилие, раздражаетесь?» — надо было наоборот говорить: «Да», — полиграф прибор чуткий, уходили еще годы. Так и сидели родители, набирали возраст, на пожилых спрос был ниже, да и вообще свободных к тому времени уже оставалось мало.

Какую бы маму она хотела? Самую красивую, самую умную. Писательницу. Или художницу. Актриса тоже подойдет. Чтобы мама всегда в своих книжках/картинах/репетициях и забегала бы к ней в комнату по ночам, после театра или выставки, когда она уже спит, лезла бы к ней в темноте на высокую кровать и обнимала бы и целовала бы долго-долго, а она бы лежала тихо-тихо, как будто спит. Или ученого, или нет — врача. В разные города ездить на конференции научные. Или мама принимает роды — лучший акушер в городе, по радио передача была. Или нет, пусть дома сидит. Будить ее по утрам, маму. Или нет, не будить, пусть спит, она и сама позавтракает, не маленькая. А потом мама пусть пирожки печет и из школы встречает. Еще варит варенье и компот, сыр домашний и разноцветное мыло. И трюфели, трюфели шоколадные чтоб умела сама. И свитер связать. И сумку там какую-нибудь своими руками сделать. А главное, чтобы колосок ей заплетала, она любит, а мама не умеет.

Туннель заканчивался безлюдной маленькой станцией, куда за родителями и детьми приезжала маршрутка. Ждали все по-разному. Кто-то сразу запрыгивал в воняющую бензином громыхающую колымагу, кто-то сидел на станции часами. Мама с девочкой дошли

до станции под вечер. Рельсы вырвались в сырой осенний лес без листьев. Тонкие, низкие деревья стояли вроде бы неплотно друг к другу, и кусты, подлесок, здесь совсем не росли, а света хватало ровно на то, чтобы не потеряться.

Станция — голубое одноэтажное строение на пяточке насыпи, не заперто, свет включился, внутри комната ожидания с металлическими стульями в два ряда, туалет с умывальником (горячая вода есть), а еще комната с двумя кроватями (подушки, одеяла, чистое постельное белье) и кухня. На полках и в маленьком холодильнике под столом твердый — камень, постучать можно — высохший лайм, готовое расплзтись под бронированной корочкой авокадо, просвечивающая пахлава и обгрызенный кусок сыра в белой плесени. В другую сторону от станции уходила узкая дорога с осенними непросыхающими лужами, видимо, именно по ней и должна приехать маршрутка. Смелчаки, желавшие разыскать дом просто так, без нужды, находились всегда, но потом в городе о них ничего не слышали. Нельзя было вернуться обратно в город через туннель, детей, побывавших в доме, с новыми родителями или без, вывозили другими путями. Только в одну сторону, не свернуть — туннель не выпустит. Городские хроники не донесли историй о сбежавших родителях, да и о детях тоже.

Мама с девочкой выпили на кухне воды и присели на стулья — казалось, что маршрутка подойдет с минуты на минуту. Маму знобило, голова продолжала болеть с самого начала поездки и разболелась еще сильнее — каждый наклон и поворот расплющивали окружающее перед глазами. Они просидели несколько часов в молчании, потом все-таки пошли спать. Значит, маршрутка придет за ними завтра. Когда девочка заснула, мама вышла на кухню и долго плакала — тихо, в полотенце, заикаясь и давясь, пытаясь не кричать и не выть, пока лицо не опухло.

Они прождали два дня, а на третий девочка не выдержала.

— Ты виновата во всем, — стояла она перед матерью, — ты хочешь моей смерти, ты хочешь, чтобы я умерла одна, ты меня расстраиваешь, ты заставляешь меня кричать! Из-за тебя за нами не приезжают, нас не возьмут туда, не возьмут, из-за тебя, мы здесь умрем, здесь, от голода, еда кончится, и умрем! Что ты тогда будешь делать?!

Она кричала, замолкала и начинала снова. Ходила за матерью, хватала ее за руки, пинала стулья, в промежутках, когда затихала, принималась рисовать в своем блокноте или запиралась в туалете и монотонно бормотала что-то — мать не вслушивалась. Мать ударила ее несколько раз — по лицу, по рукам, по спине, по детской попе — какой-то попавшейся кофтой, навалилась потом, придавила к кровати (справлялась уже с трудом) и держала. Когда совсем стемнело, им впервые стало страшно здесь — от тишины, черноты за окнами, от блеклых стен, узких кроватей, холодных стульев, полупустой кухни. Они сдвинули кровати и легли рядом, мама укрывала девочку, как раньше, договорились завтра пойти по дороге сами — наверное, маршрутка сломалась или водитель заболел — и крепко уснули.

Утром мама слышала, как девочка выбралась из постели, но вставать пока не хотелось, окончательно она проснулась позже. Похолодало, воздух в окне, как бывает только осенью, казался особенно ярким и прозрачным, дыры в облаках пронзительно подсвечивало солнце. Плотные тени, как на неудачных фотографиях, лежали на всем — на маленькой бледной станции, мертвой одноколейке и узкой дороге в строгом однообразном лесу. Мама умылась, вышла в зал ожидания, потом на улицу, постояла перед рельсами, вернулась на кухню — надо приготовить завтрак, собрать вещи и уходить.

Неподвижность воздуха, в которой звуки застревают, как тупые ножницы в вате, насторожила ее. Она позвала дочь, искала, хотя и искать-то особо было негде. Разобранная постель, кружка с водой на столе, рюкзачка нет. И девочки... девочки тоже не было. Она пропала — без записок и объяснений. Мама метнулась к дороге, прошла немного в лес, потом вдруг остановилась, улыбнулась, долго вдыхала, втягивала в себя воздух, шумно выдохнула, прогибаясь: «Сбежала», — подумала. «Не пропадет», — и уверенно вернулась на станцию. После чистого сухого холода, вымытого осенними дождями, хотелось горячего чая.

